

К 150-летию А. Куприна

Вера КАЛМЫКОВА

ДАЙТЕ МНЕ ЧЕЛОВЕКА

— Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов. — Любите его...

И. А. Гончаров. Обломов

Время действия романа И. А. Гончарова «Обломов» — 40–50-е годы XIX века. Эпоха возникновения свободной общественной мысли в России, причем массовой. Родившейся, увы, ровно с теми пороками, которые заметны и ныне, хотя непохоже, будто сама она страдает: *болезнь роста* закрепились и показала сущностные, а не *случайные черты*. Не сотрешь.

Однако дадим слово главному герою Гончарова, высказавшемуся так яростно и открыто в первый и едва ли не в последний раз, но задавшему вектор восприятия и самого себя в том числе; вектор, увы, мало кем — и уж точно не советско-российской средней школой — взятый на заметку:

— Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову... <...> Изображают они вора, падшую женщину <...> а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию. <...> Извергнуть из гражданской среды! <...> Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете из круга человечества, из лоно природы, из милосердия Божия? — почти крикнул он с пылающими глазами.

До появления первых рассказов Куприна оставалось лет сорок, ну, пятьдесят. По среднему счету позапрошлого столетия — длина одной жизни. Может быть, одно поколение. Для истории ничтожно, для людей — водораздел, грозящий бездной непонимания между «отцами» и «детьми».

Мечту Гончарова о человеке исполнили Иван Бунин, Александр Куприн, Антон Чехов и многие великие и малые их современники.

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

Двадцатилетие — с конца 1890-х до конца 1910-х — человечности в России. Ах, если б не Первая мировая (знаю все про сослагательное наклонение в истории, но вздохнуть-то можно?)... Какие результаты, какие прорывы во всех областях! Искусство! Наука! Экономика! Бизнес!.. Все прахом. Не Чехов и не Куприн повинны, что в 1917 году восторжествовала русская национальная традиция мыслить масштабными категориями, большими числами, сторонами света, а никак не отдельно взятой жизнью. Что человек, *когда такие дела творятся!* Мы и до сих пор так: в приоритете большие числа. Если вот, например, в ГУЛАГе погибло не 15 миллионов, а, допустим, три, разве это ГУЛАГ? Так, пустячок! *Единица*, мол, кому она нужна... А предложишь такому математику вообразить себя песчинкой из мириад, обидится: ну это же, скажет, совсем другое дело!

Куприн писал для тебя и для меня, о тебе и обо мне, вместе и отдельно. Куприну важна была *единица*; единичность предмета художественного мышления породила единственность его поэтики, неповторимость речи: синтаксиса, интонации, образа, детали. Тот случай, когда этическое и эстетическое уравнены в правах и равнозначны как проявления одного и того же неразложимого целого. Снова вопрос: так ли уж много у нас писателей, которых мы воспринимаем цельно, и тематически, и стилистически? Обычно ведь как: правильные вещи пишет о текущих проблемах, значит, читать — будем: со скрежетом зубным, со вкусовыми потерями, но что нам художественный вкус, *когда такие дела творятся?* Вкус, знаете ли, дело десятое...

Не получится у нас ничего. Пока эстетика будет слева, а этика справа, и даже если наоборот. Пока правильное и красивое порознь. Поэт Валерий Брюсов, современник Куприна, избравший иную художественную модель, не реалистическую, отец отечественного модернизма, и вовсе ставил эти области через запятую: «Как ненавидел я всей этой жизни строй, / Позорно-мелочный, *неправый, некрасивый...*»

Ни-че-го-не-по-лу-чит-ся.

...Мне лет пять, и я, конечно, болею (допастернаковская эра жизни, просто ангины и ничего, кроме большого горла и высокой температуры). День за днем проходят одиноко и скучно. Жду пяти часов вечера, когда с работы придет отец, и пообедает, и сядет рядом на стул, и начнет читать вслух. Рассказ называется «Слон». Отец и сам как слон, 120 кг доброты, готовности поиграть и сочувствия, про которое я все пойму позже, когда у нас появится собака и отец станет настаивать, чтобы все было устроено для песьего комфорта, потому что это новый член нашей семьи. А ведь это 1970-е годы, о правах животных слух не идет, на бездомных собак никто не смотрит, хотя и догхантеров не наблюдается. Мне хорошо и спокойно, никакие аналогии насчет возможной доставки слона на седьмой этаж, в нашу квартиру, меня не посещают (мнение об отсутствии у детей здравого смысла не подтверждается), и я, конечно, не понимаю, что получаю урок навсегда: чтобы жить — надо хотеть радоваться, а остальное приложится.

«Слона» знают почти все, а вот более ранний «Детский сад», наверное, мало кто. Рахитичная девочка Саша заболела...

Вся ее болезнь заключалась в том, что она по целым дням безмолвно сидела в темном уголку, равнодушная ко всему на свете, тихая и печальная. Когда Бурмин ее спрашивал: «Что с тобой, Сашенька?» — она отвечала жалобным голосом: «Ничего, папа, мне просто скучно»...

Отец Сашеньки, старший писец в сиротском суде, решил позвать доктора, а тот прописал девочке смену образа жизни: хорошее питание, крепкий бульон, старый

портвейн, Южный берег Крыма, морские купания: «А главное, повторяю, свежий воздух и зелень, зелень, зелень...»

Если бы у Ильи Самойловича потребовали для благополучия его дочери отдать на отсечение руку (но только — левую, правой он должен был писать), он ни на секунду не задумался бы. Но старый портвейн и — 18 рублей и 33 $\frac{1}{3}$ копеек жалованья...

И вот у Сашеньки появилось желание: погулять в саду, где травка. И Бурмин везет ее в сад, где другие дети — Куприн только одно слово дает: «мясистые» — выделяют из песка котлеты и вкусные пирожные, и худенькая анемичная Сашенька смотрит на это «с нескрываемым удовольствием», а строгая и полная дама возмущается: «Удивляюсь, чего это полиция смотрит?.. Пускают в сад больных детей... Какое безобразие! Еще других перезаразят...» Но отец свободен от службы раз в неделю, а Сашеньке этого мало.

«Ах, если бы нам воздуху, воздуху, воздуху!» — сотни и тысячи раз твердил про себя Илья Самойлович.

Эта мысль обратилась у него чуть ли не в пункт помешательства. Почти напротив его подвала простирался огромный пустырь городской земли, где попеременно то в пыли, то в грязи купались обывательские свиньи. Мимо этого пустыря Илья Самойлович никогда не мог пройти без глубокого вздоха.

— Ну, что стоит здесь развести хоть самый маленький скверик? — шептал он, покачивая головой. — Детишкам-то, детишкам-то как хорошо будет, господа!

С планом превращения этого пустыря он как истый фанатик идеи носился всюду. Его на службе даже прозвали «пустырем». Однажды кто-то посоветовал Илье Самойловичу:

— А вы бы написали проектец и подали бы в городскую Думу...

— Ну? — обрадовался и испугался Илья Самойлович. — В Думу, вы говорите?

— В Думу. Самое простое дело. Так и так, мол, состоя в звании обывателя... в виду общей пользы, украшения, так сказать, города... ну, и все такое.

Проект был написан через месяц, проект безграмотный, бессвязный и наивный до трогательности. Но если бы каждый штрих его каллиграфических букв сумел вдруг заговорить с той страстной надеждой, с какой его выводила на министерской бумаге рука Ильи Самойловича, тогда, без сомнения, и городской голова, и управа, и гласные побросали бы все текущие дела, чтобы немедленно осуществить этот необычайно важный проект.

Понятно, что сначала Бурмина никто не хочет слушать и все прогоняют, но потом он добирается до прессы. Жаль только, увидеть, как разбивают садик, ему доводится в день Сашенькиных похорон. И выразить свое ощущение сам, сказать о нем собственным, а не авторским голосом герой может только так, коряво, иначе не умея:

— Ну, вот и слава Богу, и слава Богу <...> Теперь и у наших деточек свой садик будет. А то разве нам можно на конках ездить <...>? Ведь это не шутка — сорок четыре копейки туда и обратно.

Ведь он, Бурмин, уже не совершенно бессловесный Башмачкин, но передать свои переживания еще не умеет...

Финалы рассказов Куприна — то отдельный предмет эстетического наслаждения, то, напротив, источник ужаса перед бессмысленной жестокой несправедливостью, стирающего грань между искусством и действительностью и проникающего, как свойственно литературному событию, совсем глубоко, куда порой чужая реальная боль не

достаёт. «Тапер», например, — о чудесной встрече начинающего музыканта с Антоном Рубинштейном, заканчивается так:

Реалист [ученик реального училища. — В. К.] в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

Или, напротив, «Кадеты (На переломе)». У Куприна есть чудо («Чудесный доктор»), и есть античудо, чудовищное, бессмысленное унижение, и есть способы сделать его физически осязаемым для читателя — как запах солдатских штанов. Такая, понимаете, деталь. Солдатские штаны, должно быть, пахнут отвратительно.

Беззащитное живое существо. Не к кому обратиться. Все забыли, что есть и у него достоинство, душа. Но и сила тоже есть. От времени Куприна до отмены телесных наказаний в учебных заведениях рукой подать, но до защиты животных *дистанция огромного размера* — несколько десятков лет, и в литературе собака только начинала вытеснять лошадь, раньше бывшую ближайшим метафорическим отражением человека, как в «Герое нашего времени». В финале рассказа «Барбос и Жулька» о Жульке сказано — *издохла*: мое ухо сейчас вибрирует, да что сейчас, мне и лет в тринадцать, когда маменька подружки сказала в слезах, мол, кот *сдох*, стало как-то не по себе: что ж за слово такое неподходящее. Однако человеческое отношение к зверям закладывал в поколениях, уже, должно быть, трех или четырех, немудрящий этот сюжетец о двух друзьях-собаках, меньшая из которых бросилась на защиту человеческой семьи и получила, как сейчас говорят, сильнейший психологический стресс. От него и... *умерла*. От потрясения. Да. По-человечески. Внукам объясню: умерла от сильного потрясения превыше своих возможностей.

...Но около тринадцати и даже шестнадцати лет я интересуюсь более собою, чем собаками, и, конечно, вижу себя в тревожно-романтических тонах. Тут кстати случается роман «Мастер и Маргарита», и едва ли не все знакомые девочки явно или втайне прикидывают на себя inferнальный образ, а мальчики без тени сомнений выбирают себе подруг по критерию — может из нее в будущем *ведьма выйти* или нет (мы в походе, я с другими девчонками в палатке, не сплю, подслушиваю *мужской разговор*). Кое-кого отбраковали, между прочим. Что ничему не помешало и ничему не помогло впоследствии, но это другая история. Итак, гожусь я в ведьмы или нет?

Дома том Куприна открылся на рассказе «Олеся». Экстрасенсорные способности героини, как говорится, налицо... и я выскакиваю из повествования, как из кипятка: не-не-не, не хочу, на фиг надо.

Как там Синявский про Пушкина говорил? Не знаю, мол, можно ли с ним жить, а вот гулять точно можно. Вообще, наверное, это и есть самая правильная оценка: жить с писателем — дело не наше, а вот гулять...

Гулять с Куприным можно. Можно с ним взрослеть. Брать под руку, если одиноко.

Также можно числить в ближайших друзьях-спутниках гипсового Давида из Пушкинского (мы тогда говорили: *изо* на Волхонке) музея: я взролею — и он параллельно. Мне 13 — ему 13. Мне за 50 — ему столько же. Нет у вас такого эффекта?.. Интересно, как он будет выглядеть в мои 80? Что увижу в нем?

В то же время, когда случилась «Олеся», кто-то из родственниц сообщил под большим секретом, что мать назвала меня в честь княгини Веры из «Гранатового браслета». Думала она, родственница, меня в моих собственных глазах, что ли, возвысить...

Вот ведь — не дано предугадать, чем отзовется! Возмутилась я беспредельно. Как это можно, до такой степени невнимательно смотреть вокруг себя? Ну добро б она его не полюбила, но чтоб совсем не заметить? Ух как я бунтовала против своего имени, ух как хотела поменять на другое, Катей стать, например, или Ириной! Прекрасно же звучит: Ка-тя...

Духу не хватило. Тут еще отец погиб, а все-таки имя и он выбирал.

Фабулу «Гранатового браслета» Куприн использовал, в ином, правда, виде, еще до своего шедевра — в рассказе «Первый встречный»: прекрасная дама, оскорбленная мы-не-знаем-чем, отдается первому встречному, а он всю дальнейшую жизнь помнит об этом как о единственном счастье и, умирая, шлет недостижимой возлюбленной, у которой, видимо, после того случая все наладилось, — благословение:

Уже четыре года отдаляют меня от туманного августовского вечера, но каждая черточка этого необычайного события так же прочно и так же ясно живет в моей душе. Не смейтесь надо мной и не сердитесь, если я наконец решаюсь выговорить, что люблю вас. Назовите мою любовь только безумием, потому что по-своему я счастлив и благословляю вас за то, что вы дали мне четыре года в моей жизни, четыре года томительных и блаженных страданий. В любви только надежда и желания составляют настоящее счастье. Удовлетворенная любовь иссякает, а иссякнувши, разочаровывает и оставляет на душе горький осадок... А я люблю без надежд, но все с тем же неугасимым пылом и с той же нежностью, с тем же безумием. Я — жалкий пария, полюбивший королеву. Разве может быть королеве обидна такая любовь?.. И наконец, вы можете извинить мое сумасшедшее письмо еще и по другой причине. Я пишу вам из больницы, и сегодня доктор (старый друг моего покойного отца) сказал мне, что жить мне остается не больше месяца. А ведь трудно сердиться на умирающего, особенно если он, стоя на грани этой холодной, черной бездны, посылает вам свое благословение и вечную благодарность.

Писатель-романтик из любой стыдобещи сделает шедевр, это понятно. Да и женщин нынче таких, кажется, нет.

Но и в «Первом встречном», и в «Гранатовом браслете» уже звенит, бьется Александр Грин с его жгучим, сверлящим мозг призывом *искать свое несбывшееся...*

В начале 90-х все как сорвались: Куприн — это «Поединок» и «Яма». Накинулись, словно на запрещенную литературу, хотя вот же, *собрсоч* конца 1950-х, тома, соответственно, третий и пятый. Спектакли ставили — особенно по «Яме», потом сериалы сняли (не смотрела). С обоими произведениями в юности, как говорится, ознакомилась. Ну что сказать? *Свинцовые мерзости...* Кому как, мне неинтересно. Как были мерзости, так и остались свинцовыми. Есть еще чем заняться в жизни.

Другое дело, что мы их сами себе производим, вот беда-то, а виноваты у нас всегда не мы, факт. Как сто лет назад не хотели этого видеть, так и теперь не хотим. «Молох» Куприна. В чем проблема? Авторский пафос — в чем? В том ли, что герой, инженер Бобров, личность тонкая и чувствительная?

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Или в том, что человека чувствующего и мыслящего оскорбляет индустриальный пейзаж, механизированный труд, вообще промышленная громада, перед которой рабочий может только копошиться, и ничтожность его видна воочию? Или еще: прину-

дительная жизнь во имя хлеба насущного — тоже ведь оскорбительна... И далее: только наркотик может помочь адаптироваться к этой кошмарной реальности, иначе никак...

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщицких зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей, инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов — собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Вот бы знать, как в действительности относился Куприн к своему ранимому герою. Точно знать, не вчитывая в повествование сегодняшней свой читательский взгляд, профанный, никакого отношения не имеющий к авторскому. Как понять? Разве что вот штрих: «страшная и захватывающая картина». *Захватывающая!* Или вот «Гамбринус»: скрипачу Сашке сломали руку. Что же? Каков финал?

И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.

Не противоречие ли? Тут искусство, там человек — другое. Но фокус в том, что когда этика и эстетика соединяются, человек становится всемогущим.

Между прочим, люди поколения Куприна всерьез оскорблялись и грязью на улицах, и дискомфортом бедности, и беззаконием, и простой грубостью. О способе очистить мир мечтали по-настоящему пламенно, виделось им горнило какое-то, в котором сгорит все отвратительное и родится — лет через 200 — настоящий русский человек, не такой как есть, а какой должен быть.

А какой должен быть?.. Вряд ли знали. Вот спросить бы Чехова, тоже юбиляра, между прочим, в 2020 году, этак по-свойски: ну что, как надо? То, что сейчас, Антон Палыч, — нравится Вам? Так — надо?..

Вот у Куприна «Погибшая сила», например. Был художник, неудачно влюбился, сошел с круга. Встречается со старым знакомым, помнящим расцвет его таланта, буквально исповедуется... потом просит на водку. Помощь принимать отказывается.

Жизненный опыт мой скуден, вот что. Не видела я ни одного бомжа, которому стыдно было бы хоть пахнуть в метро, например. Ничего личного, только вот в общественном транспорте, бывает, аллергики ездят. Астматики. О норма, норма, плывущая социальная норма...

До купринских «Листригонов» в юности я как-то не добралась. Не знаю почему, стесняюсь теперь предположить, что, наверное, неинтересны были мне моряки-рыбаки. Мужской рабочий мир, места женщине в нем нет, разве что по берегу бегать в шторм, гадая, вернется ли. Хотя слово замечательное, с внутренней сильной тайной, она-то Куприна и привлекла, и, думаю (а проверять не стану: *тайна*), от слова пошел рассказ, а не для готового сюжета нашлось название: у Гомера упомянуты кровожадные великаны, людоеды, между прочим, так вот купринские балаклавские греки вроде как их потомки и есть.

Рассказчику (а он ведь и герой, есть у него даже кое-какие исключительные снасти, и в море он ходит наравне с другими) все эти люди уважительно близки. Как он их называет: Юра, Ваня, Коля. Никаких тебе среднерусских ванек и колек, от которых иногда скулы сводит: не знаю почему, а неприятно. Подглавка называется «Бора». Ну, думаешь, производное от имени Борис, ан нет — ветер, норд-ост, смертельно опасный.

...Перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и уговоры старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего, из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая черноглазая гречанка?

Поднял парус, — а ветер уже и в то время был очень свежий, — и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рысака вынеслась лодка из бухты, помачала минут пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разоб- рать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток...

Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря — и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой — и точно забыл обо всем, точно ничего с ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось, на исходе вторых суток, нечто вроде истерического припадка, когда он начал вдруг ни с того ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки вовремя не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано такого, о чем артель «Гео- ргия Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

Почему не расскажет, вот интересно. Отчего бы не поведать миру?.. А почему мой дед ни слова о войне не рассказывал? Отцу еще передал хоть три-четыре сюжета, мне ни одного напрямую не досталось, только через отцовские руки. В чем причина?..

Не в бережном отношении к девочке дело, думаю, а в чем — не понимаю.

Рабочий рискованный мужской мир. Ни с какой стороны, боюсь, не политкорректный. Вот знать бы, как сегодня молодыми людьми читаются «Листригоны». Ау, тридцатилетние друзья, прочитайте кто-нибудь! Поделитесь впечатлением!

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ощупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

Дело рук... Ловкость и быстрота... Сегодня даже карманники так работать не умеют, а ведь были мастера, не дай бог попасться! Разве что хакеры являют полет пальцев над послушной клавиатурой — но почему-то не восхищают, хотя вот они, труд и мастерство. Откуда брезгливое чувство, непонятно. Так и видишь шуплого социопата, научившегося взламывать чужие пароли и из чувства мести, желания самоутвердиться или еще чего-нибудь такого же *свинцового* крадущие то информацию, то деньги. Никакой романтики. Почему?

У меня что, болезненное отрицание современности? Что, я против сегодняшней системы ценностей? Не то чтобы... Пугает, знаете, *пакетированность*. В одной обложке, понимаете, вещи собираются такие, которые вместе странно выглядят. Ну вот с одной стороны. Нельзя обижать человека, указывая на его национальность или цвет кожи. Если у девочки ноги волосатые или зубы вперед торчат, нельзя над этим смеяться, и вообще будет здорово, если ты не обратишь на это внимания. Нельзя животных садистски убивать и уж тем более ради того, чтобы шуба блестела, как живая лисица. (Вообще охоту запретить бы, если она не ради выживания.) Или вот волонтеры, скажем. В онкобольницы ходят, в диспансеры, развлекают обреченных детей, радуют брошенных инвалидов или стариков. Дежурят в собачье-кошачьих приютах или сами приюты открывают. Еще клумбы. Это здорово, когда в крупных городах весной-осенью цветут клумбы и никакие позднесоветские старушки не воруют луковицы, чтобы посадить у себя на приусадебном, как говорилось, участке. А я таких старушек видела в 90-е. И не передам никакими словами, сколько надобилось силы воли, чтобы не поднять ногу да не пнуть радеицу за красоту личного пространства в отставленный объемный *эфедрон*.

Кто скажет про вежливость, сострадание, уважение — плохо? Отлично же!

Но такова лишь часть содержимого *пакета*. Вперемежку — разговоры о праве однополых семей забирать детей из, как бы сказать, двуполых. Кстати, про двуполые нельзя сказать, что они «нормальные» — как раз под суд и угодишь: воистину представления о норме ныне плывут, как фанера над Парижем. Ювенальная юстиция, чудо законотворческого гения, тоже красивая история. Учитель в школе не имеет права трогать чужого ребенка. Ну, нельзя бить, агрессивность проявлять, это понятно. Но и погладить, обнять, оказывается, нельзя тоже. (А как их учить, если им порой ничего, кроме твоего касания, не нужно и они вообще ничего иного не ждут и не воспримут?..) Это о человеке? Опубликовать в социальной сети, например, обнаженную Еву какого-нибудь, извините за выражение, Кранаха-старшего — нельзя: сексуальные нормы на

страже. Да, и о Боге говорить публично лучше не надо, это нарушение прав неверующих. Они имеют право обнародовать свои размышления, а верующий нет. И так далее...

Ух, нельзя читать Куприна, ух нельзя! Нетолерантный писатель. В тех же «Листригонах»:

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрысых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги, искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно — русские». В предутренний час темной ревущей ночи пошли они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до поясницы, в кожаных куртках, в крашенных желтых непромокаемых плащах.

Вот ужо попадется автор этих строк какому-нибудь ревнителю национальной чести... Да и автор строк об этих строках с ним заодно...

Разве современно сегодня говорить об ураганной любви на грани фолы — помешательства, пошлости, — которая управляет судьбой, хватает властно даже не за руку, а за шиворот, как котенка, и тычет в самую гущу *чудовищно уплотненной* действительности, а у нее один разговор с тобой: либо ты пан, либо извини-подвинься. *Женщина* сегодня перестает быть *темой*. Ни согласно Вертинскому, ни еще как угодно. Плохо это? Хорошо? А Куприн его знает... Мое дело маленькое — констатировать.

Однако шутки в сторону. По Куприну можно узнать, какой была та самая дореволюционная *Россия, которую мы потеряли*. Россия Пирогова и Рубинштейна. «Поединка» и «Ямы». Никакой идеализации. Где бы взять писателя, по которому узнаешь сегодняшнюю Россию? Я, например, москвичка в третьем поколении, знать ничего о ней не знаю. Чем она живет? Что она такое? Каков современный русский человек?

Ну ладно русский, каков человек вообще — европеец, американец? Все расплывается по кластерам. Что объединяет? Скажу смешную вещь: наверное, боевики. На то и маскульт. Все смотрят, и стар и млад, и ботаник, и фрик, и гопник. И как? Кто из героев выжил бы среди *листригонов*? Хороший вопрос, а?

Всерьез задумалась... разве что персонажи Брюса Уиллиса, да и то с натяжкой...

Да что это я, да никак сбиваюсь в морализаторство? Раньше, мол, небо было синее, а вода чище... Врешь, столько не живут. Но только когда-то давно ходили по России Горький, Куприн, Гиляровский, шупали разные профессии, примеривали на себя людские судьбы. А сейчас вата. Иногда кровавая. Потому что все созерцается из прекрасного далека, из зоны интеллектуального комфорта. Странников нет, ногами не ходим — ездим. Кому архитектура Афин, кому греческая кухня. Человека не надо никому, страшновато про человека-то, неудобен он, *широк, вот бы сузить*, вот скоро восторжествует толерантность вкупе с обществом потребления, тогда получится всем удобно и хорошо.

И лишь тома Горького, Чехова и Куприна на библиотечных полках останутся стоять взрывоопасными грядами: откроешь любой — похуже динамита. С каждой страницы посыплются в голову характеры, поступки, детали. *451 градус им по Фаренгейту!*..

Страшная вещь — человек. Но есть кое-что и пострашнее. То, что культура бессмертна. Ни его не сузишь, ни ее не уничтожишь.

Так что Куприн.